# Иегуда бен Галеви

***1

«Да прилипнет в жажде к нёбу
 Мой язык и да отсохнут
 Руки, если я забуду
 Храм твой, Иерусалим!..»

Песни, образы так бурно
 В голове моей теснятся,
 Чудятся мужские хоры,
 Хоровые псалмопенья.

Вижу бороды седые,
 Бороды печальных старцев.
 Призраки, да кто ж из вас
 Иегуда бен Галеви?

И внезапно — все исчезло:
 Робким призракам несносен
 Грубый оклик земнородных.
 Но его узнал я сразу, —

Да, узнал по древней скорби
 Многомудрого чела,
 По глазам проникновенным
 И страдальчески пытливым,

Но и без того узнал бы
 По загадочной улыбке
 Губ, срифмованных так дивно,
 Как доступно лишь поэтам.

Год приходит, год проходит, —
 От рожденья Иегуды
 Бен Галеви пролетело
 Семь столетий с половиной.

В первый раз увидел свет
 Он в Кастилии, в Толедо;
 Был младенцу колыбельной
 Говор Тахо золотого.

Рано стал отец суровый
 Развивать в ребенке мудрость, —
 Обученье началось
 С божьей книги, с вечной Торы.

Сыну мудро толковал он
 Древний текст, чей живописный,
 Иероглифам подобный,
 Завитой квадратный шрифт,

Этот чудный шрифт халдейский,
 Создан в детстве нашим миром
 И улыбкой нежной дружбы
 Сердце детское встречает.

Тексты подлинников древних
 Заучил в цитатах мальчик,
 Повторял старинных тропов
 Монотонные напевы

И картавил так прелестно,
 С легким горловым акцентом,
 Тонко выводил шалшелет,
 Щелкал трелью, словно птица.

Также Таргум Онкелос,
 Что написан на народном
 Иудейском диалекте, —
 Он зовется арамейским

И примерно так походит
 На язык святых пророков,
 Ну, как швабский на немецкий, —
 Этот желтоцвет еврейский

Тоже выучил ребенок,
 И свои познанья вскоре
 Превосходно применил он
 В изучении Талмуда.

Да, родитель очень рано
 Ввел его в Талмуд, а после —
 И в великую Галаху,
 В эту школу фехтованъя,

Где риторики светшш,
 Первоклассные атлеты
 Вавилона, Пумпедиты
 Упражнялись в состязаньях.

Здесь ребенок изощрился
 В полемическом искусстве, —
 Этим мастерством словесным
 Позже он блеснул в «Козари».

Но, как небо нам сияет
 Светом двойственной природы:
 То горячим светом солнца,
 То холодным лунным светом, —

Так же светит нам Талмуд,
 Оттого его и делят
 На Галаху и Агаду.
 Первую назвал я школой

Фехтования, а вторую
 Назову, пожалуй, садом,
 Садом странно-фантастичным,
 Двойником другого сада,

Порожденного когда-то
 Также почвой Вавилона:
 Это сад Семирамиды,
 Иль восьмое чуда света.

Дочь царей Семирамиду
 Воспитали в детстве птицы,
 И царица сохранила
 Целый ряд привычек птичьих:

Не хотела променады
 Делать по земле, как все мы,
 Млеком вскормленные твари,
 И взрастила сад воздушный, —

Высоко на колоссальных
 Колоннадах заблистали
 Клумбы, пальмы, апельсины,
 Изваянья, водометы —

Скреплены хитро и прочно,
 Как плющом переплетенным,
 Сетью из мостов висячих,
 Где качались важно птицы,

Пестрые, большие птицы,
 Мудрецы, что молча мыслят,
 Глядя, как с веселой трелью
 Подле них порхает чижик.

Все блаженно пьют прозрачный,
 Как бальзам душистый, воздух,
 Не отравленный зловонным
 Испарением земли..

Да, Агада — сад воздушный
 Детских вымыслов, и часто
 Юный ученик Талмуда,
 Если сердце, запылившись,

Глохло от сварливой брани
 И от диспутов Галахи,
 Споров о яйце фатальном,
 Что снесла наседка в праздник,

Иль от столь же мудрых прений
 По другим вопросам, — мальчик
 Убегал, чтоб освежиться,
 В сад, в цветущий сад Агады,

Где так много старых сказок,
 Подлинных чудесных былей,
 Житий мучеников славных,
 Песен, мудрых изречений,

Небылиц, таких забавных,
 Полных чистой пылкой веры.
 О, как все блистало, пело,
 Расцветало в пышном блеске!

И невинный, благородный
 Дух ребенка был захвачен
 Буйной дерзостью фантазий,
 Волшебством блаженной скорби,

Страстным трепетом восторга —
 Тем прекрасным тайным миром,
 Тем великим откровеньем,
 Что поэзией зовется.

И поэзии искусство —
 Высший дар, святая мудрость —
 Мастерство стихосложенья
 Сердцу мальчика открылось.

Иегуда бен Галеви
 Стал не только мудрый книжник,
 Но и мастер песнопенья,
 Но и первый из поэтов.

Да, он дивным был поэтом,
 Был звездой своей эпохи,
 Солнцем своего народа —
 И огромным, чудотворным,

Огненным столпом искусства.
 Он пред караваном скорби,
 Пред Израилем-страдальцем,
 Шел пустынями изгнанья.

Песнь его была правдива,
 И чиста, и непорочна,
 Как душа его; всевышний,
 Сотворив такую душу,

Сам доволен был собою,
 И прекраснейшую душу
 Радостно поцеловал он, —
 И трепещет тихий отзвук

Поцелуя в каждой песне,
 В каждом слове песнотворца,
 Посвященного с рожденья
 Божьей милостью в поэты.

Ведь в поэзии, как в жизни,
 Эта милость — высший дар!
 Кто снискал ее — не может
 Ни в стихах грешить, ни в прозе.

Называем мы такого
 Божьей милостью поэта
 Гением; он в царстве духа
 Абсолютный самодержец,

Он дает ответ лишь богу,
 Не народу, — ведь в искусстве
 Нас народ, как в жизни, может
 Лишь казнить, но не судить.

2

«Так на реках вавилонских
 Мы рыдали, наши арфы
 Прислонив к плакучим ивам», —
 Помнишь песню древних дней?

Помнишь — старое сказанье
 Стонет, плачется уныло,
 Ноет, словно суп в кастрюльке,
 Что кипит на очаге!

Сотни лет во мне клокочет,
 Скорбь во мне кипит! А время
 Лижет рану, словно пес,
 Иову лизавший язвы.

За слюну спасибо, пес,
 Но она лишь охлаждает,
 Исцелить меня могла бы
 Смерть, — но я, увы, бессмертен!

Год приходит, год проходит!
 Деловито ходит шпулька
 На станке, — а что он ткет,
 Ни единый ткач не знает.

Год приходит, год проходит, —
 Человеческие слезы
 Льются, капают на землю, —
 И земля сосет их жадно.

Ах, как бешено кипит!
 Скачет крышка!.. Слава мужу,
 Чья рука твоих младенцев
 Головой швырнет о камень.

Слава господу! Все тише
 Котелок клокочет. Смолк.
 Мой угрюмый сплин проходит,
 Западно-восточный сплин.

Ну, и мой конек крылатый
 Ржет бодрее, отряхает
 Злой ночной кошмар и, мнится,
 Молвит умными глазами:

«Что ж, опять летим в Толедо,
 К маленькому талмудисту,
 Что великим стал поэтом, —
 К Иегуде бен Галеви?»

Да, поэт он был великий —
 Самодержец в мире грезы,
 Властелин над царством духов,
 Божьей милостью поэт.

Он в священные сирвенты,
 Мадригалы и терцины,
 Канцонетты и газеллы
 Влил огонь души, согретой

Светлым поцелуем бога!
 Да, поистине был равен
 Этот трубадур великий
 Несравненным песнотворцам

Руссильона и Прованса,
 Пуату и прочих славных
 Померанцевых владений
 Царства христиан галантных.

Царства христиан галантных
 Померанцевые земли!
 Их цветеньем, блеском, звоном
 Скрашен мрак воспоминаний!

Чудный соловьиный мир!
 Вместо истинного бога —
 Ложный бог любви да музы, —
 Вот кому тогда молились!

Розами венчая плеши,
 Клирики псалмы там пели
 На веселом лангедоке,
 А мирянин, знатный рыцарь,

На коне гарцуя гордо
 В стихотворных выкрутасах
 Славил даму, чьим красотам
 Радостно служил он сердцем.

Нет любви без дамы сердца!
 Ну, а уж певец любви —
 Миннезингер, — тот без дамы
 Что без масла бутерброд!

И герой, воспетый нами,
 Иегуда бен Галеви,
 Увлечен был дамой сердца —
 Но совсем особой дамой.

Не Лаурой, чьи глаза,
 Эти смертные светила,
 На страстной зажгли во храме
 Знаменитейший пожар,

Не нарядной герцогиней
 В блеске юности прекрасной,
 Королевою турниров,
 Присуждавшей храбрым лавры,

Не постельной казуисткой,
 Поцелуйным крючкотвором,
 Докторолухом, ученым
 В академиях любви, —

Нет, возлюбленная рабби
 В жалкой нищете томилась,
 В лютой скорби разрушенья
 И звалась: Иерусалим.

С юных лет в ней воплотилась
 Вся его любовь и вера,
 Приводило душу в трепет
 Слово «Иерусалим».

Весь пунцовый от волненья,
 Замирая, слушал мальчик
 Пилигрима, что в Толедо
 Прибыл из восточных стран

И рассказывал, как древний
 Город стал пустыней дикой, —
 Город, где в песке доныне
 Пламенеет след пророка,

Где дыханьем вечным бога,
 Как бальзамом, полон воздух.
 «О юдоль печали!» — молвил
 Пилигрим, чья борода

Белым серебром струилась,
 А у корня каждый волос
 Черен был, как будто сверху
 Борода омоложалась, —

Странный был он пилигрим;
 Вековая скорбь глядела
 Из печальных глаз, и горько
 Он вздыхал: «Иерусалим!

Ты, людьми обильный город,
 Стал пустынею, где грифы,
 Где гиены и шакалы
 В гнили мерзостно пируют,

Где гнездятся змеи, совы
 Средь покинутых развалин,
 Где лиса глядит спесиво
 Из разбитого окошка

Да порой, в тряпье одетый,
 Бродит нищий раб пустыни
 И пасет в траве высокой
 Худосочного верблюда.

На Сионе многославном,
 Где твердыня золотая
 Гордым блеском говорила
 О величье властелина, —

Там, поросшие бурьяном,
 Тлеют грудами обломки
 И глядят на нас так скорбно,
 Так тоскливо, будто плачут.

Ах, они и вправду плачут,
 Раз в году рыдают камни —
 В месяц аба, в день девятый;
 И, рыдая сам, глядел я,

Как из грубых диких глыб
 Слезы тяжкие катились,
 Слышал, как колонны храма
 В прахе горестно стонали».

Слушал речи пилигрима
 Юным сердцем Иегуда
 И проникся жаждой страстной
 Путь свершить в Иерусалим.

Страсть поэта! Роковая
 Власть мечтаний и предчувствий,
 Чью святую мощь изведал
 В замке Блэ видам прекрасный,

Жоффруа Рюдель, услышав,
 Как пришедшие с востока
 Рыцари при звоне кубков
 Громогласно восклицали:

«Цвет невинности и чести,
 Перл и украшенье женщин —
 Дева-роза Мелисанда,
 Маркграфиня Триполи!» —

Размечтался трубадур наш,
 И запел о юной даме,
 И почувствовал, что сердцу
 Стало тесно в замке Блэ, —

И тоска им овладела.
 К Цетте он поплыл, но в море
 Тяжко заболел и прибыл,
 Умирая, в Триполи.

Там увидел Мелисанду
 Он телесными очами,
 Но тотчас же злая смерть
 Их покрыла вечной тенью.

И в последний раз запел он
 И, не кончив песню, мертвый,
 Пал к шагам прекрасной дамы —
 Мелисаады Триполи.

Как таинственно и дивно
 Сходны судьбы двух поэтов,
 Хоть второй лишь мудрым старцем
 Совершил свой путь великий!

И Иегуда бен Галеви
 Принял смерть у ног любимой,
 Преклонил главу седую
 У колен Иерусалима.

3

После битвы при Арбеллах
 Юный Александр Великий
 Землю Дария и войско,
 Двор, гарем, слонов и женщин,

Деньги, скипетр и корону —
 Золотую дребедень —
 Все набил в свои большие
 Македонские шальвары.

Дарий, тот удрал от страха,
 Как бы в них не угодить
 Царственной своей персоной.
 И герой в его шатре

Захватил чудесный ларчик,
 Золотой, в миниатюрах,
 Инкрустированный тонко
 Самоцветными камнями.

Был тот ларчик сам бесценен,
 А служил лишь для храненья
 Драгоценностей короны,
 И других сокровищ царских.

Александр их раздарил
 Самым храбрым — и смеялся,
 Что мужчины, словно дети,
 Рады пестрым побрякушкам.

Драгоценнейшую гемму
 Милой матери послал он, —
 И кольцо с печатью Кира
 Стало просто дамской брошкой.

Ну, а старый Аристотель —
 Знаменитый забияка,
 Мир поставивший вверх дном,
 Для коллекции диковин

Получил оникс огромный.
 В ларчике имелись перлы,
 Нить жемчужин, что Атоссе
 Подарил Смердис поддельный, —

Жемчуг был ведь настоящий!
 И веселый победитель
 Отдал их Таис, прекрасной
 Танцовщице из Коринфа.

Та, украсив жемчугами
 Волосы, их, как вакханка,
 Распустила в ночь пожара,
 В Персеполисе танцуя,

И швырнула в царский замок
 Факел свой — и с громким треском
 Яростно взметнулось пламя
 Карнавальным фейерверком.

После гибели Таис,
 Что скончалась в Вавилоне
 От болезни вавилонской,
 Перлы были в зале биржи

Пущены с аукциона, —
 И купил их жрец мемфисский
 И увез их в свой Египет,
 Где они явились позже

В шифоньерке Клеопатры,
 Что толкла прекрасный жемчуг
 И, с вином смешав, глотала,
 Чтоб Антония дурачить.

А с последним Омаядом
 Перлы прибыли в Гренаду
 И блистали на тюрбане
 Кордуанского калифа.

Третий Абдергам украсил
 Ими панцирь на турнире,
 Где пронзил он тридцать броней
 И Зюлеймы юной сердце.

Но с паденьем царства мавров
 Перешли и эти перлы
 Во владенье христиан,
 Властелинов двух Кастилий,

Католических величеств, —
 И испанских государынь
 Украшали на турнирах,
 На придворных играх, в цирке,

На больших аутодафе,
 Где величества с балконов
 Наслаждались ароматом
 Старых жареных евреев.

Правнук черта Мендицабель
 Заложил потом все перлы
 Для покрытья дефицита
 В государственных финансах.

В Тюильри, в дворцовых залах,
 Вновь на свет они явились
 И сверкали там на шее
 Баронессы Соломон.

Вот судьба прекрасных перлов!
 Ларчик меньше приключений
 Испытал, — его оставил
 Юный Александр себе,

И в него сложил он песни
 Бесподобного Гомера,
 Своего любимца. На ночь
 Ставил он у изголовья

Этот ларчик, и оттуда,
 Чуть задремлет царь, вставали,
 В сон проскальзывали тихо
 Образы героев светлых.

Век иной — иные птицы
 Ах, и я любил когда-то
 Эти песни о деяньях
 Одиссея и Пелида,

И в душе моей, как солнце,
 Рдели золото и пурпур»
 Виноград вплетен был в кудри,
 И, ликуя, пели трубы.

Смолкни, память! Колесница
 Триумфальная разбита,
 А пантеры упряжные
 Передохли все, как девы,

Что под цитры и кимвалы
 В пляске шли за мной; и сам я
 Извиваюсь в адских муках,
 Лежа в прахе. Смолкни, память!

Смолкни, память!.. Речь вели
 Мы о ларчике царевом,
 И такая мысль пришла мне:
 Будь моим подобный ларчик, —

Не заставь меня финансы
 Обратить его в монету, —
 Я бы запер в этот ларчик
 Золотые песни рабби

Иегуды бен Галеви —
 Гимны радости, газеллы,
 Песни скорби, путевые
 Впечатленья пилигрима —

Дал бы лучшему цофару
 На пергаменте чистейшем
 Их списать, и положил бы
 Рукопись в чудесный ларчик,

И держал бы этот ларчик
 На столе перед кроватью,
 Чтоб могли дивиться гости
 Блеску маленькой шкатулки,

Превосходным Барельефам,
 Мелким, но таким прекрасным,
 Инкрустациям чудесным
 Из огромных самоцветов.

Я б гостям с улыбкой молвил:
 «Это что! — Лишь оболочка
 Лучшего из всех сокровищ:
 Там сияют — бриллианты,

Отражающие небо,
 Там рубины пламенеют
 Кровью трепетного сердца,
 Там смарагд обетованья,

Непорочные лазури,
 Перлы, краше дивных перлов,
 Принесенных Лже-Смердисом
 В дар пленительной Атоссе,

Бывших лучшим украшеньем
 Высшей знати в этом мире,
 Обегаемом луною:
 И Таис, и Клеопатры,

И жрецов, и грозных мавров,
 И испанских государынь,
 И самой высокочтимой
 Баронессы Соломон.

Те прославленные перлы —
 Только сгустки бледной слизи,
 Выделенья жалких устриц,
 Тупо прозябавших в море.

Мною ж собранные перлы
 Рождены душой прекрасной,
 Светлым духом, чьи глубины
 Глубже бездны океана,

Ибо эти перлы — слезы
 Иегуды бен Галеви, —
 Ими горько он оплакал
 Гибель Иерусалима.

И связал он перлы-слезы
 Золотою ниткой рифмы,
 В ювелирно стихотворства
 Сделал песней драгоценной.

И доныне эта песня,
 Этот плач великой скорби
 Из рассеянных по свету
 Авраамовых шатров

Горько льется в месяц аба,
 В день девятый — в годовщину
 Гибели Иерусалима,
 Уничтоженного Титом.

Эта песня — гимн сионский
 Иегуды бен Галеви,
 Плач предсмертный над священным
 Пеплом Иерусалима.

В покаянной власянице,
 Босоногий, там сидел он
 На поверженной колонне;
 И густой седою чащей

Волосы на грудь спадали,
 Фантастично оттеняя
 Бледный, скорбный лик поэта
 С вдохновенными очами.

Так сидел он там и пел,
 Словно древний ясновидец, —
 И казалось, из могилы
 Встал пророк Иеремия.

И в руинах смолкли птицы,
 Слыша вопли дикой скорби,
 Даже коршуны, приблизясь,
 Им внимали с состраданьем.

Вдруг, на стременах качаясь,
 Мимо, на коне огромном,
 Дикий сарацин промчался,
 Белое копье колебля, —

И, метнув оружье смерти
 В грудь несчастного поэта,
 Ускакал быстрее ветра,
 Словно призрак окрыленный.

Кровь певца текла спокойно,
 И спокойно песню скорби
 Он допел, и был предсмертный
 Вздох его: «Иерусалим!»

Молвит старое сказанье,
 Что жестокий сарацин
 Был не человек преступный,
 А переодетый ангел,

Посланный на землю небом,
 Чтоб унесть любимца бога
 Из юдоли слез, без муки
 Взять его в страну блаженных.

В небе был он удостоен
 Крайне лестного приема, —
 Это был сюрприз небесный,
 Драгоценный для поэта.

Хоры ангелов навстречу
 Вышли с музыкой и пеньем,
 И в торжественном их гимне
 Он узнал свою же песню —

Брачный гимн синагогальный,
 Гимн субботний Гименею,
 Строй ликующих мелодий,
 Всем знакомых, — что за звуки!

Ангелы трубили в трубы,
 Ангелы на скрипках пели,
 Ликовали на виолах,
 Били в бубны и кимвалы.

И в лазурных безднах неба
 Так приветливо звенело,
 Так приветливо звучало:
 «Лехо дауди ликрас калле!»1

4

Рассердил мою супругу
 Я последнею главой,
 А особенно рассказом
 Про бесценный царский ларчик.

Чуть не с горечью она мне
 Заявила, что супруг
 Подлинно религиозный
 Обратил бы ларчик в деньги,

Что на них он приобрел бы
 Для своей жены законной
 Белый кашемир, который
 Нужен, бедной, до зарезу;

Что с Иегуды бен Галеви
 Было бы довольно чести
 Сохраняться просто в папке
 Из красивого картона,

По-китайски элегантно
 Разрисованной узором,
 Вроде чудных бонбоньерок
 Из пассажа «Панорама».

«Странно! — вскрикнула супруга. —
 Если он такой уж гений,
 Почему мне незнакомо
 Даже имя бен Галеви?»

«Милый друг мой, — отвечал я, —
 Ангел мой, прелестный неуч,
 Это результат пробелов
 Во французском воспитанье.

В пансионах, где девицам,
 Этим будущим мамашам
 Вольного народа галлов,
 Преподносят мудрость мира:

Чучела владык Египта,
 Груды старых мумий, тени
 Меровингских властелинов
 С ненапудренною гривой,

Косы мудрецов Китая,
 Царства пагод из фарфора, —
 Всё зубрить там заставляют
 Умных девочек. Но, боже!

Назови-ка им поэта,
 Гордость золотого века
 Всей испано-мавританской
 Старой иудейской школы,

Назови им Ибен Эзру,
 Иегуду бен Галеви,
 Соломона Габироля —
 Триединое созвездье,

Словом, самых знаменитых, —
 Сразу милые малютки
 Сделают глаза большие
 И на вас глядят овцой.

Мой тебе совет, голубка,
 Чтоб такой пробел заполнить,
 Позаймись-ка ты еврейским, —
 Брось театры и концерты,

Посвяти годок иль больше
 Неустанной штудировке —
 И прочтешь в оригинале
 Ибен Эзру, Габироля

И, понятно, бен Галеви —
 Весь триумвират поэтов,
 Что с волшебных струн Давида
 Лучшие похитил звуки.

Аль-Харизи — я ручаюсь,
 Он тебе знаком не больше,
 А ведь он остряк — французский,
 Он переострил Харири

В хитроумнейших макамах
 И задолго до Вольтера
 Был чистейшим вольтерьянцем, —
 Этот Аль-Харизи пишет:

«Габироль — властитель мысли,
 Он мыслителям любезен;
 Ибен Эзра — царь искусства,
 Он художников любимец;

Но достоинства обоих
 Сочетал в себе Галеви:
 Величайший из поэтов,
 Стал он всех людей кумиром».

Ибен Эзра был старинный
 Друг, — быть может, даже родич, —
 Иегуды бен Галеви;
 И Галеви в книге странствий

С болью пишет, что напрасно
 Он искал в Гранаде друга, —
 Что нашел он только брата,
 Рабби Мейера — врача

И к тому же стихотворца
 И отца прекрасной девы,
 Заронившей безнадежный
 Пламень страсти в сердце Эзры.

Чтоб забыть свою красотку,
 Взял он страннический посох,
 Стал, как многие коллеги,
 Жить без родины, без крова.

На пути к Иерусалиму
 Был татарами он схвачен
 И, привязанный к кобыле,
 Унесен в чужие степи.

Там впрягли беднягу в службу,
 Недостойную раввина,
 А тем более поэта:
 Начал он доить коров.

Раз на корточках сидел он
 Под коровой и усердно
 Вымя теребил, стараясь
 Молоком наполнить крынку, —

Не почетное занятье
 Для раввина, для поэта!
 Вдруг, охвачен страшной скорбью,
 Песню он запел; и пел он

Так прекрасно, так печально,
 Что случайно шедший мимо
 Хан татарский был растроган
 И вернул рабу свободу,

Много дал ему подарков:
 Лисью шубу и большую
 Сарацинскую гитару,
 Выдал денег на дорогу.

Злобный рок, судьба поэта!
 Всех потомков Аполлона
 Истерзала ты и даже
 Их отца не пощадила:

Ведь, догнав красотку Дафну,
 Не нагое тело нимфы,
 А лавровый куст он обнял, —
 Он, божественный Шлемиль.

Да, сиятельный дельфиец
 Был Шлемиль, и даже в лаврах,
 Гордо увенчавших бога, —
 Признак божьего шлемильства.

Слово самое «Шлемиль»
 Нам понятно. Ведь Шамиссо
 Даже в Пруссии гражданство
 Дал ему (конечно, славу),

И осталось неизвестным,
 Как исток святого Нила,
 Лишь его происхожденье;
 Долго я над ним мудрил,

А потом пошел за справкой,
 Много лет назад в Берлине,
 К другу нашему Шамиссо,
 К обер-шефу всех Шлемилей.

Но и тот не мог ответить
 И на Гицига сослался,
 От которого узнал он
 Имя Петера без тени

И фамилию. Я тотчас
 Дрожки взял и покатил
 К Гицигу. Сей чин судебный
 Прежде звался просто Ициг,

И когда он звался Ициг,
 Раз ему приснилось небо
 И на небе надпись. Гициг, —
 То есть Ициг с буквой Г.

«Что тут может значить Г? —
 Стал он размышлять. — Герр Ициг
 Или горний Ициг? Горний —
 Титул славный, но в Берлине

Неуместный». Поразмыслив,
 Он решил назваться «Гициг», —
 Лишь друзьям шепнув, что горний
 В Гициге сидит святой.

«Гициг пресвятой! — сказал я,
 Познакомясь. — Вы должны мне
 Объяснить языковые
 Корни имени Шлемиль».

Долго мой святой хитрил,
 Всё не мог припомнить, много
 Находил уверток, клялся
 Иисусом, — наконец

От моих штанов терпенья
 Отлетели все застежки,
 И пошел я тут ругаться,
 Изощряться в богохульстве,

Так что пиетист почтенный
 Побледнел как смерть, затрясся,
 Перестал мне прекословить
 И повел такой рассказ:

«В Библии прочесть мы можем,
 Что частенько в дни скитаний
 Наш Израиль утешался
 С дочерями Моавитов.

И случилось, некий Пинхас
 Увидал, как славный Зимри
 Мерзкий блуд свершал с такой же
 Мадиамской уроженкой.

И тотчас же в лютом гневе
 Он схватил копье и Зимри
 Умертвил на месте блуда.
 Так мы в Библии читаем.

Но из уст в уста в народе
 С той поры передается,
 Что своим оружьем Пинхас
 Поразил совсем не Зимри

И что, гневом ослепленный,
 Вместо грешника убил он
 Неповинного. Убитый
 Был Шлемиль бен Цури-Шадцай».

Этим-то Шлемилем Первым
 Начат был весь род Шлемилей:
 Наш родоначальник славный
 Был Шлемиль бен Цури-Шадцай.

Он, конечно, не прославлен
 Доблестью, мы только знаем
 Имя, да еще известно,
 Что бедняга был Шлемилем.

Но ведь родовое древо
 Ценно не плодом хорошим,
 А лишь возрастом, — так наше
 Старше трех тысячелетий!

Год приходит, год проходит;
 Больше трех тысячелетий,
 Как погиб наш прародитель,
 Герр Шлемиль бен Цури-Шадцай.

Уж давно и Пинхас умер,
 Но копье его доныне
 Нам грозит, всегда мы слышим,
 Как свистит оно над нами.

И оно сражает лучших —
 Как Иегуда бен Галеви,
 Им сражен был Ибен Эзра,
 Им сражен был Габироль.

Габироль — наш миннезингер,
 Посвятивший сердце богу,
 Соловей благочестивый,
 Чьею розой был всевышний, —

Чистый соловей, так нежно
 Пел он песнь любви великой
 Средь готического мрака,
 В тьме средневековой ночи.

Не страшился, не боялся
 Привидений и чудовищ,
 Духов смерти и безумья,
 Наводнявших эту ночь!

Чистый соловей, он думал
 Лишь о господе любимом,
 Лишь к нему пылал любовью,
 Лишь его хвалою славил!

Только тридцать весен прожил
 Вещий Габироль, но Фама
 Раструбила по вселенной
 Славу имени его.

Там же, в Кордове, с ним рядом,
 Жил какой-то мавр; он тоже
 Сочинял стихи и гнусно
 Стал завидовать поэту.

Чуть поэт начнет, бывало,
 Петь — вскипает желчь у мавра,
 Сладость песни у мерзавца
 Обращалась в горечь злобы.

Ночью в дом свой заманил он
 Ненавистного поэта
 И убил его, а труп
 Закопал в саду за домом.

Но из почвы, где зарыл он
 Тело, вдруг росток пробился,
 И смоковница возникла
 Небывалой красоты.

Плод был странно удлиненный,
 Полный сладости волшебной,
 Кто вкусил его — изведал
 Несказанное блаженство.

И тогда пошли в народе
 Толки, сплетни, пересуды,
 И своим светлейшим ухом
 Их услышал сам калиф.

Сей же, собственноязычно
 Насладившись феноменом,
 Учредил немедля строгий
 Комитет по разысканью.

Дело взвесили суммарно:
 Всыпали владельцу сада
 В пятки шестьдесят бамбуков —
 Он сознался в злодеянье;

После вырыли из почвы
 Всю смоковницу с корнями,
 И народ узрел воочью
 Труп кровавый Габироля.

Пышно было погребенье,
 Беспредельно горе братьев.
 В тот же день калифом был***